

А. Ф. Писемский

Взбаламученное море

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

А. Ф. Писемский

Взбаламученное море / А. Ф. Писемский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 324 с.

ISBN 978-5-4241-1679-7

Писемский Алексей Феофилактович — русский писатель. Принадлежал к старинному обедневшему дворянскому роду. Окончил математическое отделение Московского университета в 1844 году. Около 10 лет был на государственной службе в Костроме и Москве. Выступил в печати в 1848 году. Первый роман Писемского «Боящина» (1846, опубликован 1858) написан в духе натуральной школы 40-х гг. Известность пришла к Писемскому после опубликования повести «Тюфяк» (1850). Затем появились повести из жизни дворянско-чиновничьей провинции — «Комик», «Богатый жених» (обе — 1851), «М-г Батманов» (1852), «Фанфарон» (1854), «Винювата ли она?» (1855) и другие, комедии «Ипохондрик» (1852) и «Раздел» (1853), рассказы из крестьянской жизни. Писатель не видел в дворянской среде людей, способных сопротивляться влиянию её бесчеловечной морали, поэтому ирония — одно из главных свойств его стиля. Цельные характеры писатель находил только в народе. В романе «Взбаламученное море» (1863) он выступил с грубыми нападка на революционное движение.

ISBN 978-5-4241-1679-7

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Писемский Алексей
Взбаламученное море
Роман в шести частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Басардины

По улицам и полям усадьбы Спинова мела и передувала бестолковойшая декабрьская вьюга: то зачем-то несла целое облако снегу и, выйдя за ворота, тотчас же клала его на огромнейший и без того сугроб; то точно сверлом сверлила и завывала в разбитое слуховое окно на барском доме, то с каким-то упорством дула в зад скотнику Климу, рубившему перед скотным двором дрова и не обрашавшего на это никакого внимания. На крыльце избы стояла старуха Михайловна, и с ней ветер как-бы заигрывал, крутя и завивая ее истасканный передник.

— Чьи такие, дедушка, это проехали? — окликнула она Клима.

— Басардины, надо-быть... к тестю едут.

— И то дело. Да, да!

— На балотировку, видно, ладят, — заключил Клим.

— Да, да! — согласилась опять с этим Михайловна; а потом, о чем-то звонко вздохнув, вернулась в избу.

На Спировском поле, по переметенной и ухабистой дороге, действительно тянулся целый обоз. На передней лошади ехал молодой дворовый мальш, Митька. Он сидел спокойно, как истукан, и только, когда его очень уж тряхнет в ухабе, он моргнет носом и ткнет лошадь кнутовищем, на что та обыкновенно, отмахнет ему хвостом.

В тех же санях, за спиной у Митьки, сидела горничная девица Дарья, закутанная по самый нос в какие-то лохмотья. Странное явление представляли собой эти два молодые существа: жизнь ли их очень заколотила, или их организмы, питаемые круглый год постными щами и мяканным хлебом, содержали в себе более лимфы, чем крови, но только пятидесятью версту они ехали вдвоем и во все это время хоть бы переглянулись, пошутили бы между собой, переговорили слова два-три. Митька, положительно можно сказать, даже ничего и не думал; а Дарья всю дорогу смутно соображала, куда это она положила барышнины чулки: старая барыня, как приедут на место, непременно их спросит, а она и не помнит, куда их засунула.

За передней ехал сам барин, в розвальнях, парой гусем. Заложенный у него на вынос сивый меренок, по прозванью Репейник, обнаруживал удивительное старание. Он вез, потел, обтирался и все-таки вез, как будто бы сотни начальнических глаз смотрели на него и любопытствовались его усердием, между тем как шедшая в корню сухопарая саврасая кобыла решительно парализовала все его старания. Лошадь эта, пока дорога шла еще прямая, везла кое-как; но чуть-чуть встречался крутой поворот, или надобно было обойти какую-нибудь рытвину, так сейчас же и терялась: не понимала она, как это сделать надо, или ей трудно было ладить со своим неуклюжим телом, только непременно сядет в хомут, начнет болтаться из стороны в сторону и по крайней мере с полверсты не устоит. На подобное неравенство в распределении трудов сидевший кучером задельный мужик Потап, так как настоящих дворовых кучеров уже не хватало, не обращал ни малейшего внимания: все его старание было направлено на то, чтобы самому

как-нибудь примоститься на облучке, к которому он скорее изображал собой касательную линию, чем сидящего на нем человека. Едва позаберется несколько поспокойнее, как сани занесет в его сторону, и поехал вниз; опять начнет забирать вверх, — да так всю дорогу, даже пот прошиб!

На все эти проделки с Потапом барин, мужчина с проседью, но довольно еще молодцеватый, в потертой медвежьей шубе и шапке с собачьим околышком, надетой несколько набекрень, смотрел не без удовольствия.

— Опять съехал? — говорил он, слегка улыбаясь, когда Потап, спустившись с саней до самого горла, отчаянно хватался за передок.

— Ты сиди крепче! — советовал он ему.

На все это Потап отвечал сердитым взглядом и забирался на передок почти с ногами.

Барин между тем переносил свое внимание на другие предметы.

«Ишь, как дугу-то погнуло», — думал он, глядя, как сбившаяся с панталыку коренная шла совершенно боком.

На окраине поля замелькали какие-то черные пятна.

«Кусты это или деревья, чорт знает?» — продолжает он соображать с заметным вниманием.

«Кусты!» — решал он мысленно и самодовольно.

Налетевшая вьюга зашлепала ему глаза. Он повертывался и начинал смотреть в другую сторону.

Волновали ли в настоящую минуту какие-либо иные, более серьезные мысли и более раздражительные чувствования этого, как мы увидим впоследствии, отца довольно многочисленного семейства, — мы не знаем и даже имеем все основания подозревать, что как к совершенному им теперь пути, так и вообще ко всей громаде плывущей на него жизни он относился довольно созерцательно и совершенно спокойно.

Ехавшая за розвальнями тройка, в крытых санях, представляла собой гораздо больший порядок: лошади все в ней были одной масти, коренная шла даже с некоторой гордостью. Молодой кучер Михайла, с черкесским лицом, стройный, перетянутый ремнем с посеребренным набором, ловко сидел на облучке. Пожилой лакей, хоть и в очень старинной, но заметно сбереженной гороховой шинели, с несколькими воротничками и со светлыми пуговицами, тоже привычно сидел рядом с ним и, при малейшем наклонении саней на его сторону, сейчас же соскакивал и подпирал их плечом. Видно, он понимал, что едет с дамами, из которых одна, молоденькая, с прелестным, свежим личиком, беспрестанно выглядывала из-под опущенного фордека и, оглянув окрестность, снова опускалась в глубь саней, приговаривая с досадой: «нет еще, далеко».

Сидевшая с ней пожилая дама, казалось, и не слышала этих восклицаний.

Если бы какой-нибудь художник захотел изобразить идею житейской озабоченности в виде женщины, то лучшего образца не нашел бы для себя, как эта дама, с впалыми, желтоватыми щеками, с довольно еще светлым, умным взглядом черных глаз, но который весь был погружен в себя и ушел в глубь души. В противоположность своему на все спокойно взиравшему супругу, своей пятнадцатилетней дочери, чем-то своим, должно быть, занятой, в противоположность наконец вялой и далеко не заботливой прислуге, — она одна тут обо всем думала и над всем бодрствовала.

Трудно перечислить, сколько забот, предположений, надежд и опасений проходило в ее бедной женской голове, а тут еще — смешно даже сказать — от дорожной ли езды, или от несущегося со всех сторон свежего воздуха, перед ней, как нарочно, начали восставать так давно уж, кажется, забываемые воспоминания...

2

Вельможи-благотетели

Надежда Павловна Басардина была чуть ли не пятая дочь секунд-майора Рылова, который, еще на ее памяти, ходил в кафтане с бортами, в чулках и башмаках и, как что-то, вероятно, очень умное, любил выделять перед гостями палкой, как павловским эшпатоном. Потом она воспитанница в доме князя Д... Целый верх огромного московского дома отведен был для десяти питомиц, все почти прехорошеньких собой девочек... Как живой стоял перед ней князь, всегда в синем фраке, в белом галстуке и с тремя звездами. Каждое утро они гуртом сходили к нему вниз делать реверанс, целуя при этом его белую и благоуханную руку... Шли потом к его дочери, величественной, бойкой красавице, Графине N., авантюристке по жизни, вышедшей сначала за французского эмигранта, бросившей его потом в Париже для итальянского тенора и теперь жившей, как знали все, даже маленькие воспитанницы, почти в открытой связи с правителем дел отца, безобразным, рябым, косым, но умным и пронырливым попovichем, грабившим всю Москву и при этом сохранившим какую-то демонскую власть над старым князем и его дочерью. Помнила Надина и огромную классную комнату с длинным столом, на председательском месте которого всегда восседала m-lle Dorothee, высокая, плоская швейцарка, скорей бы допустившая, чтобы мир перевернулся вверх дном, чем которая-нибудь из воспитанниц произнесла при ней русское слово. Помнила и танцовального учителя, ставившего их всех в ряд и довольно нецеремонно вытягивавшего их маленькие ножки для довольно трудных менуэтных па. Помнила наконец и многозначительный день: в доме шум, беготня; это приехал сын князя, юный дипломат, любимец двора. Надине было уже пятнадцать лет, она все внимательней и внимательней прислушивалась к шепоту подруг о непонятных и в тоже время как будто бы и знакомых ей вещах. В тот же день, на *petite soiree*, все воспитанницы были представлены молодому князю. Он их благосклонно, хоть несколько и свысока, оприветствовал. Никогда уже, во всю свою жизнь, ни прежде ни после, Надина не видала мужчины красивее, умнее и любезнее. Не давая себе хорошенько отчета, она обыкновенно засматривалась на князя, когда он стоял где-нибудь вдали и рисовался почти еще юношеским станом. Раз князь, именно в это самое время, обернулся к ней; Надина сконфузилась, покраснела. Он все это видел и улыбнулся ей.

Вскоре после того в довольно темноватую залу, где воспитанницам обыкновенно давали музыкальный урок, вошел князь. Надина сидела вдали от прочих девушек. Он прямо подошел и сел рядом с нею. Она сконфузилась и поотодвинулась от него.

Князь ласково посмотрел на нее.

— *Avez-vous des parents?* — спросил он ее, вероятно, затем, чтобы только заговорить с нею.

— *Non, mes parents c'est votre pere,* — отвечала Надина, совершенно сконфу-

женная.

— *Donc, je suis votre frere*, — подхватил князь: — так?

— *Non, non!* — повторяла шопотом Надина.

Все прочие воспитанницы, окружавшие рояль, стояли к ним спиной.

— *Et vous embrasser?* — заключил тем же шопотом князь, наклоня свое лицо к лицу Надины.

— *Monsieur!* — произнесла та, отодвигаясь от него.

Голос учителя, позвавшего Надину, прервал эту сцену. Она проворно встала и подошла к фортепиано.

Князь, хоть и вдали, но стал против нее.

Надина пропела свой урок дрожащим голосом и почти со слезами на глазах.

На другой день ее остановила графиня.

— *Chere enfant, un mot!* — сказала она. Надина стала перед ней навтыяжку. — *Je veux voir votre figure et votre taille!*

Надина потупилась.

— *Vous etes charmante!* — продолжала графиня с улыбкой. — *Mon frere est amoureux de vous.*

— *Non, madame*, — произнесла Надина, вся вспыхнув.

— *Comment non?* — спросила графиня, устремляя на молодую девушку почти любово-страстный взгляд.

В доме между тем готовялось новое торжество.

Молодой князь, по величайшей милости государя и в уважение к знаменитому роду, каких-нибудь двадцати семи лет назначен был уполномоченным при одном из маленьких дворов. Сама графиня-сестра взялась устраивать по этому случаю праздник. Все воспитанницы, одетые тирольскими пастушками, должны были поднести юному амфитриону цветы, а Надина, как более уменькая, была выбрана сказать ему поздравительное стихотворение. Князь, в свою очередь, имел у себя в запасе для прелестных тиролок целую коллекцию довольно ценных безделушек: милый век имел и милые обычаи!

— *Vous recitez si bien, qu'il m'est difficile de trouver quelque chose a vous offrir*, — говорил молодой посланник, торопливо роясь в безделушках, когда Надина нетвердым сконфуженным голосом произнесла ему свое восьмистишие.

— *Je voudrais bien avoir votre portrait*, — отвечала она почти уже шопотом и не помня сама, что говорит.

— *Vrai? Je vais vous l'apporter*, — воскликнул князь и бросился в кабинет отца, сорвал там со стены свой очень дорогой медальон на кости и подал его Надине. Та проворно спрятала его за корсет и, вся пылающая, убежала к себе наверх. Вечером, на бале во вкусе Трианона, все юные смертные были обращены в богов. Надина изображала Минерву. Князь танцевал с ней котильон и бесцеремонно жал ей руку. За ужином он сел против нее, кидал в нее шариками, выбирал ей лучшие конфеты и цветы и заставлял пить много вина. Сидевшая тут же рядом m-lle Dorothee на все это только улыбалась своим широким ртом. В доме старого князя все дышало одним воздухом: даже строгая швейцарка, позабыв целомудренные нравы родины, любила шаловливые и слегка скандальные сцены.

После ужина, детей, а в том числе и шестнадцатилетних воспитанниц, отправили спать раньше. Дежурная горничная, чего прежде не бывало, повернула и затушила ночную лампу.

— Что ты делаешь? — закричали-было ей со всех сторон.

Но она, ни слова не ответив, ушла.

— Mesdames! Мы во мраке! — говорили с хохотом маленькие шалуни, но вскоре потом, разумеется, и заснули.

Надина тоже уже спала... Вдруг она почувствовала на щеке чье-то горячее дыхание. Она в испуге открыла глаза... Перед ней стоял князь.

Надина приподнялась с постели.

— Que voulez-vous, monsieur? — проговорила она уstraшенным голосом и закрывая руками обнаженную шею.

Князь хотел обнять ее. Надина движением руки остановила его и сейчас же вскочила на окно дортюара.

— Si vous m'approchez, je me precipite de la fenetre! проговорила она.

— De grace, ma petite, retirez-vous de la, — молил ее князь.

— Monsieur, sortez! — сказала Надина.

Голос ее был тверд и громок.

— Vous etes cruelle! — проговорил князь и, сделав ручкой, удалился.

Как ни грациозно была разыграна эта сцена, но она сильно поразила Надину: дрожащая от страха, униженная, оскорбленная, она сошла с окна. Нравственный инстинкт женщины заговорил в ней; ей как бы сразу представилось, где она и что она такое тут. Загадочная история с m-lle Горкиной, чудо какой хорошенькою и двумя годами старше ее воспитанницей, стала для нее ясна. Ту, как сама она рассказывала, каждый вечер водили в кабинет к старому князю, и тот, несмотря на ее слезы, посылал ей на грудь табаку и нюхал его.

Родители Горкиной ужасно рассорились за это с князем и взяли дочь к себе.

Надина тоже решила написать отцу и сестре. В тысяче выражений она умоляла взять ее. Она писала: «Sauvez moi, ma soeur, de moi-meme. Le jeune prince est amoureux de moi et je puis perdre ma pudeur».

Старый майор в это время находился окончательно забранным в строгие и благочестивые руки старшей своей дочери, оставшейся при нем в девках, Бог знает когда-то и кем-то названной Биби и до сих пор сохранившей это имя между родными и знакомыми. Секунд-майор, слушал письмо своей «московки», только хлопал глазами; пожилая девственница, сама некогда воспитанница Смольного монастыря и недочившаяся там единственно потому, что в петербургском климате ее беспрестанно осыпала золотуха, поняла все. Пиши сестра, что ее не кормят, не одевают, что каждый день ее мучат, колесуют, — сердце Биби не дрогнуло бы: но тут угрожала опасность чести их фамилии.

— В нашем семействе не было еще таких! — проговорила она почти с ужасом и настояла, чтобы в тот же день за сестрой в Москву была послана на паре, в кибиточке, подвода, на которой отправила любимого своего кучера Ивана Горького. Вместе с ним также поехала и приближенная к секунд-майору девица Матрена. Старик, был в таких уже годах, все еще не мог оставить своих глупостей, и Биби терпела их, помня только великое правило, что дети родителям не судьи.

Майор, под диктовку дочери, нацарапал князю письмо, которое начиналось так: «Ваше высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и сиятельный-ший князь!» — форма, которой научил его еще в полку писарь и которую он запомнил на всю жизнь.

Прописав титул, он просил отпустить к нему дочь его Надину, так как сам

он приближается к старости, а старшая дочь его, и без того уж посвятившая ему всю жизнь, желает подумать и о себе и себе что-нибудь сделать для будущей жизни.

Диктуя последние строки, Биби решительно думала поразить ими все семейство князя и внушить к себе огромное уважение.

В заключении письма старик вопиал к именованному вельможе излить на свою питомицу последние милости и благословить ее образом Иверской Божией Матери, которая вечно будет ей заступницей в жизни, а затем подписался, слегка размахнувшись: «Вашего сиятельства нижайший раб, секунд-майор Рылов».

Несколько странно было видеть, когда Иван Горький, с удивленным лицом и растопыренными ногами, очутился на княжеском дворе, а Матрена, в пестрорядинной шубенке и валеных сапогах, — между накрахмаленными и раздушенными горничными в княжеской кофишенской. Надина чуть не умерла со стыда, когда увидела посланных за нею: такие они были оборванные.

Старый князь, занятый в это время планами женитьбы сына чуть ли не на принцессе Брауншвейгской, несколько удивился, прочитав письмо секунд-майора; но, впрочем, величественным наклоением головы изъявил свое согласие и в день отъезда подарил Надине на приданое бриллиантовое ожерелье в десять тысяч ассигнациями. Что же касается до благословения, то православной иконы в доме не нашлось, и князь благословил свою рыдающую питомицу копией с Рафаэлевой Мадонны.

3

Совсем дичь

Дней через шесть Надина, вся разбитая от непривычной езды в нерессорном экипаже, приехала к родительскому крову и как бы чудом каким была перенесена из французского, фоблазовским духом преисполненного дома в самый центр деревенского православия.

Если бы пришлось подробно описывать жизнь секунд-майора и пожилой его дочери, то беспрестанно надобно было бы говорить: «Это было, когда поднимали иконы перед посевом; это — когда служили накануне Николы всенощную; это — когда на девках обарывали усадьбу кругом, по случаю появившегося в соседних деревнях скотского падежа».

Въезжая в усадьбу, Надина еще издали увидела старого отца, в том же чепане и с развевавшимися по воздуху седыми волосами, а за ним сухоощавую фигуру сестры в черном платье и белом платочке на шее.

Она хотела было броситься к ним в объятия; но Биби движением руки остановила ее и указала на вынесенную чудотворную икону. Надина приложилась к ней и затем уже почувствовала на щеках своих сморщенное, плачущее и заскоробленное лицо отца и сухие, тонкие губы сестры. В комнатах ее поразил сильный и совершенно незнакомый запах ладана и деревянного масла, и к ней как-то робко и суетливо стали подходить горничные девицы, одна другой пожилее и некрасивее. Биби не любила выдавать замуж свою женскую прислугу, и ее девки годам к тридцати страшно худели и старились, а потом так засыхали в этом виде на всю остальную жизнь.

На другой день Биби возила сестру к приходу и заставила там подать за упокой всех умерших родных, а по матери отслужить панихиду, непременно

требуя, чтоб она за все это заплатила из своих карманных денег. Образ, которым благословили Надину, тоже немало занимал Биби: она все недоумевала, какого он во имя, и советовала, по этому случаю, с захватившим к ним невдолге настоятелем Редчинской пустыни.

— Это вряд ли не католический образ, — заметил ей тот.

Биби была удивлена и огорчена, и как потом ее монах ни уверял, что это ничего, что это все-таки образ, она поставила его в киоте ниже православных икон.

О причине, заставившей сестру бежать из княжеского дома, Биби не сказала с ней ни слова: о подобных вещах она не только что говорить, но даже думать не любила.

Для Надины таким образом началось все, что и прежде делалось в доме отца ее, более полугодом скудный, на постном масле, стол, почти каждую неделю какая-нибудь церковная служба в доме; Биби целый день или принимала и угощала разных странниц, или тихо, но злобно хлопотала по хозяйству. Старый отец, по ее приказанию, тоже все был больше в поле и смотрел за рабочими. Первое время Надина, по своему несколько идиллическому воспитанию, мечтала-было о прогулках по полям, о разговорах с добрыми поселянами и поселянками. Но из всего этого ее артистический взгляд только и увидал, как весной задельные мужики, по большей части все старики, с перекошенными от натуги лицами взрывали неуклюжими косулями глинистую почву, а вечером ужинали одним квасом с хлебом, и хорошо-хорошо когда холодными шами с забелкой, — или как дворовые женщины, а в том числе и ходившие последнее время беременности, не чувствуя собственной спины, часто, после заката солнца, дожидали отмеренные ей десятины, и их же потом бранили, что они высоко жнут, — или как наконец эти же самые добрые мужички, при первой же Никольщине, напивались, как звери дикие, и в этом виде ругались такими словами, что слушать было невозможно.

Самым живым развлечением для Надины было ходить, в сопровождении горничных, за грибами и ягодами; но сестра и в этом ей всегда препятствовала, говоря, что неприлично девкам бегать по лесам: мало ли на что они там могут наскочить? Из прежних ее элегантных занятий у нее только и осталось, что вышивание бесконечного ковра, который Биби заранее назначила для приношения в церковь.

Так прошли год, два, три, наконец десять. Скука и бездействие (из хозяйства Надине только и предоставлено было разливать чай), беспрепятственное созерцание какого-то бессердечного богомольства стрелы и наконец совершенно бессмысленная любовь отца, делали свое: Надина худела, дурнела; но в то же время умнела!.. Трудно передать ту степень неуважения, которое она чувствовала к своему ничего не могшему для нее сделать родителю, того ожесточения, которое питала против занятой какими-то неземными целями сестры.

В доме шла постоянная, хоть и сдерживаемая и скрываемая под наружным видом ласковости, борьба: Надина и приближенная к майору девица Матрена тянули в одну сторону, а Биби — в другую и, по высоте своей исходной точки, всегда одерживала над ними верх.

Женихов у Надины все это время не было никого: всем молодым соседним помещикам, по большей части кутилам и собачникам, она, по своему умению одеться, ловко держать себя, по своему отвращению от разных деревенских блюд,

казалась уж очень образованною. «Жидка, братец ты мой, ничего с ней не поделаешь!» — говорил иной. «Поди-ка женись на ней: таких супе и фрикасе потрещет!» — рассчитывал другой.

Часто, гуляя по саду до полуночи, с пылающим лицом и сильно бьющимся пульсом, Надина хватала себя с отчаянием за голову и думала: «Господи! хоть бы за чорта да выйти замуж!». И это решительно было в ней не движением крови, а просто желание переменить свое положение.

4

Самец

В благородных строях кирасирского Его Величества Короля В...го полка, конечно, уж было немного таких скромных и молодцеватых офицеров, как ротмистр Басардин.

По формулярному его списку значилось: «родом из бедных дворян; воспитание получил домашнее (то-есть никакого); на службу поступил рядовым и через два месяца, по своей превосходной выправке, ехал уже ординарцем на высочайшем смотру». Закройщик Швецов про него говорил: «Вот на корнета Басардина шить любо: грудь навывкат, кость прямая, тонкая!». Невежа! Понимал ли он, что одеваемый им корнет по правильности своих форм был статуя античная. Даже в настоящем его чине, с начинавшею уже несколько полнеть талией, когда Басардин шел по расположенной на горке деревне, в расстегнутом вицмундире, в надетой набекрень фуражке, или когда где-нибудь сидел на бревнах, по большей части глядя себе на сапоги и опустив на нижнюю губу свои каштановые усы, между тем как при вечернем закате с поля гнали коров, по улицам бродили лошади, — глядя на него, невольно приходилось подумывать: «Да, человек — красивейшее создание между всеми животными, и он один только может до такой степени оживлять ландшафт».

Здоровьем Басардин пользовался замечательным: он мог не спать три ночи, и при этом нимало не воспалялись его большие красивые глаза; зато и спал, после каждого утомительного перехода, часов по пятнадцати сряду. Курить мог всегда: утром, за обедом, после обеда, даже ночью, если б его разбудили для этого.

Другое дело для ротмистра было думать: мышление у нас все-таки есть, как хотите, болезнь, усиленная деятельность мозга насчет других органов. Но жизненная сила была слишком равномерно распределена в теле Басардина, и едва только позаберется ее несколько больше во вместилище разума и начнет там работать, как ее сейчас же потребуют другие части. Таким образом ротмистр не то что был глуп, напротив того: он судил очень здраво, но только все мысли его были как-то чересчур обыкновенны, ограничены и лишены всякого полета; а между тем по этому проклятому командованию эскадроном стали случаться следственные дела, надобно было отписываться, приходилось кое-что и по счетной части, а тут, пожалуй, пошли и распеканья за нестрогость характера. Все это весьма утомляло Басардина, и в последнее время, приехав в свою маленькую деревеньку, соседнюю с имением секунд-майора, он уже сильно тяготился службой.

Надина и прежде еще слыхала о красивом соседе-офицере. В первый раз они встретились в церкви, и она тут же принялась за него, как за якорь спасения: